

Предисловие

Доводы, приведенные в этом сочинении, вызревали на протяжении всего того долгого времени, пока ваш покорный слуга писал статьи о крестьянах, об их классовых конфликтах и борьбе, об их сопротивлении, о проектах по их развитию, а также о малочисленных народах, живущих в горах Юго-Восточной Азии. На протяжении тридцати лет, сказав что-либо на занятии или написав нечто, я то и дело ловил себя на мысли: «Хм, а звучит-то по-анархистски!» В геометрии для построения прямой достаточно двух точек, но если на этой же прямой внезапно оказываются третья, четвёртая и пятая точки, игнорировать такие совпадения невозможно.

Устав удивляться этим совпадениям, я решил, что настало время изучить классиков анархизма и погрузиться в историю анархических движений. С этой целью я прочел объемный курс лекций, стремясь узнать об анархизме нечто новое и, возможно, понять своё собственное отношение к нему. Результат моих размышлений, дожидавшийся публикации целых двадцать лет после того, как лекции были прочитаны, перед вами.

Я заинтересовался анархистской критикой государства, потому что потерял всякую надежду на революционные изменения. Это обычно и чувствовали люди, политическое сознание которых сформировалось в Северной Америке 1960-х годов. Для меня и для многих других эта эпоха стала кульминацией того, что можно назвать влюблённостью в крестьянские народно-освободительные войны.

На некоторое время меня полностью захватили эти утопические грезы. Я трепетно и, как теперь ясно, наивно наблюдал за референдумом о независимости Гвинеи при Ахмеде Секу Туре, за panaфриканскими инициативами президента Ганы Кваме Нкрумы, за первыми выборами в Индонезии, за обретением независимости Бирмой (нынче Мьянма) и первыми выборами в этой стране, где я провёл год, и, конечно же, за земельными реформами в революционном Китае и общенациональными выборами в Индии.

Разочарование было порождено двумя процессами: изучением прошлого и наблюдением за тем, что происходит в настоящем. Мне внезапно открылось (странно, что я не понял этого раньше), что практически любая масштабная и успешная революция заканчивалась созданием государства, куда более могущественного, чем то, которое она разрушила, и способного отныне выжимать из народа, которому должно было служить, гораздо больше и контролировать его намного жестче. Критика, которой анархисты подвергали Маркса и особенно Ленина, оказалась в этом случае провидческой. Французская революция привела к Термидорианской реакции, а затем к недозрелой и воинственной Наполеоновской империи. Результатом Октябрьской революции в России стала диктатура Ленина и партии большевиков, которая превратилась впоследствии в репрессии бастующих матросов и рабочих (пролетариата!) в Кронштадте, коллективизацию и ГУЛАГ. Без сомнений, ancien regime (королевская власть в дореволюционной Франции — прим. пер.) в условиях

феодалного неравенства правил изуверски, но и история революций являет собой картину неутешительную. Чаяния народа, в которых он черпал необходимые для победы революции силу и мужество, как показала история, наверняка были обмануты.

Происходящее в наши дни внушало тревогу ничуть не меньшую, особенно если принять во внимание, как современные революции влияли на самый многочисленный класс в мировой истории — крестьянство. Вьетминь, партия, правившая в северной части Вьетнама согласно Женевским соглашениям 1954 года, безжалостно подавила народное восстание мелких землевладельцев в тех же районах, которые исторически были очагами крестьянского радикализма. Стало ясно, что Большой Скачок в Китае, во время которого Мао заставил замолчать своих критиков и принудил миллионы крестьян вступить в крупные аграрные коммуны и питаться из одного котла, привёл к катастрофическим последствиям. Учёные и статистики до сих пор спорят о числе жертв этой политики за период 1958–1962 годов, но вряд ли оно будет меньше 35 миллионов человек. Не успели историки подсчитать жертв Большого Скачка, как пришли страшные новости о голоде и массовых казнях в Кампучии, в которой к власти пришли красные кхмеры. Это довершило картину крестьянских революций, так и не достигших поставленных целей.

Политику Запада в отношении бедных стран в годы холодной войны тоже нельзя было рассматривать как наглядную альтернативу «реально существующему социализму». Режимы и государства, правившие железной рукой в условиях жесточайшего неравенства, приветствовались в качестве союзников по борьбе против коммунизма. Те, кто знаком с этим периодом, вспомнят, что тогда только начался первый этап исследований в области развития и появился новый раздел экономики — экономика развития. Революционные элиты придумывали грандиозные проекты построения общества в духе коллективизма, а ученые тем временем пытались убедить всех в возможности достичь экономического роста через насильственное насаждение форм собственности, инвестиции в инфраструктуру, развитие товарного растениеводства и земельного рынка — всего, что по большей части и приводит к усилению государственного контроля и увеличению неравенства. «Свободный мир», особенно на Глобальном Юге, оказался уязвимым как для социалистической критики капиталистического неравенства, так и для коммунистической и анархистской критики государства как гаранта этого неравенства.

Моё двойное разочарование блестяще иллюстрирует высказывание Михаила Бакунина: «Свобода без социализма — привилегия, несправедливость, социализм без свободы — рабство и скотство».

Несмотря на отсутствие цельного анархистского мировоззрения и весьма скептическое отношение к формализованным взглядам на мир, я попробую высказаться в пользу того, что я бы назвал анархическим уклоном. Я хочу продемонстрировать, что взгляд на историю народных движений и революций, политическую рутину и государство сквозь призму анархизма позволяет созерцать то, что невозможно увидеть ни с какой другой стороны. Нам также станет понятно, что анархические принципы прослеживаются в устремлениях и политической деятельности даже тех, кто никогда не слышал об анархизме или анархической философии. Предполагаю, что мы поймем, что имел в виду Пьер-Жозеф Прудон, когда он впервые использовал термин «анархизм», то есть управление во

взаимодействии или сотрудничестве без иерархии и государства. Также мы увидим, что анархисты снисходительны к суете и внезапности, без которых немислимы социальные учения, и убеждены в важности ситуативного сотрудничества и обоюдных уступок. Доказательством может послужить то, что мудрым решениям малочисленных представителей партийных элит Роза Люксембург в течение долгого времени предпочитала наивные ошибки рабочего класса. Итак, я собираюсь доказать, что сквозь призму анархизма видно лучше и дальше, чем через большинство иных объективов — ни больше ни меньше.

Убедившись в том, что я сторонник «процессо-ориентированного» анархистского взгляда, иначе называемого практическим анархизмом, читатель может задать резонный вопрос: исходя из обилия существующих ныне разновидностей анархизма, сквозь какую из линз я собираюсь смотреть?

Отстаивать свою анархическую позицию я собираюсь посредством политики конфликтов и дискуссий, а также постоянной неопределённости и необходимости учиться, к которым они вынуждают. Это значит, что я отрицаю основной поток утопического сциентизма, превалировавший в анархистской мысли на рубеже XIX-XX вв. Учитывая гигантские достижения в области промышленности, химии, медицины, строительства и транспорта, не приходится удивляться оптимистичной вере правых и левых в то, что проблема дефицита в принципе решена. Многие люди верили, что научный прогресс постиг законы природы, а значит, и способы на научной основе решить проблему выживания, организации общества и социального устройства. По мере того, как люди, обретая больше знаний, становились всё более и более рациональными, наука объясняла, как следует жить, и в конце концов это привело бы к тому, что политика оказалась бы не нужна. О мире будущего, в котором просвещённые специалисты правят сообразно принципам науки, а «управление» заменит политику, писали мыслители кардинально различающихся взглядов — граф де Сен-Симон, Милль, Маркс и Ленин. Последний рассматривал замечательную тотальную мобилизацию германской экономики в годы Первой мировой войны в качестве образца безукоризненно работающей машины социалистического будущего — стоило лишь убрать немецких милитаристов от руля государства, заменив их партией передового пролетариата, и управление ресурсами сделало бы политику ненужной. В глазах многих анархистов такое же понимание прогресса указывало на возможность экономики, при которой государство становилось ненужным. Однако с тех пор мы узнали, что материальное изобилие не только не вытесняет политику, а наоборот, создает новые сферы политической борьбы, но и то, что государственный социализм был не столько «управлением ресурсами», сколько профсоюзным объединением правящего класса, защищающего свои привилегии.

В отличие от многих анархистских мыслителей, я не верю, что государство везде и всегда выступает в качестве врага свободы. Чтобы понять, что в некоторых обстоятельствах государство может играть освободительную роль, достаточно вспомнить, как в 1957 году в Литл-Рок, штат Арканзас, национальная гвардия США сопровождала идущих в школу чернокожих детей, защищая их от толпы разъярённых белых. Мне думается, что и эта возможность появилась лишь в эпоху Великой Французской революции вследствие появления понятия о демократическом гражданстве и всеобщем избирательном праве, которое позднее было распространено на женщин, рабов и представителей меньшинств. Это значит, что за почти пять тысяч лет существования государства как явления какая-то

вероятность того, что оно может хотя бы изредка способствовать человеческой свободе, возникла только в последние два столетия. Но, как мне кажется, условия, при которых реализуется такой сценарий, наступают только в случае, когда стихийные выступления народа угрожают целостности всей политической системы. И даже это достижение чревато издержками: например, во время Французской революции государство получило прямой и непосредственный доступ к гражданину, что привело ко всеобщей воинской повинности и охваченной войной стране.

Не верю я и в то, что государство — это единственный институт, угрожающий свободе. Утверждать такое означало бы закрыть глаза на предшествовавшие возникновению государства рабство, женское бесправие, войны и захватнические набеги. Одно дело в корне не соглашаться с Гоббсом в том, что жизнь людей и общества до появления государства была отвратительной, жестокой и короткой, и совсем другое — верить в то, что «природным состоянием» общества был нетронутый ландшафт общинной собственности, сотрудничества и мира.

Последнее течение анархистской мысли, с которым я определённо не хочу иметь ничего общего, — некий подвид либертарианства, который терпимо или даже благосклонно относится к диспропорциям в богатстве, собственности и статусе. Свобода и демократия в условиях вызывающего неравенства — это, по Бакунину, жестокий обман. Не может быть истинной свободы там, где громадные различия превращают соглашения или обмен в узаконенный грабёж. В качестве примера возьмём Китай образца межвоенного периода, когда войны и голод буквально косили людей. Многие женщины стояли перед ужасным выбором: умереть от истощения или продать своих детей и выжить?

Для рыночного фундаменталиста продажа ребёнка — дело, в общем-то, добровольное, следовательно, является свободным выбором человека, а потому такой договор купли-продажи будет вполне законен. Безусловно, логика просто чудовищна: ведь именно безвыходность ситуации и ставила людей перед гибельным выбором.

Я привёл провокационный пример, но подобные случаи не так уж и редки даже в наши дни. Достаточно вспомнить о международной торговле органами и детьми. Вообразите себе замедленную съёмку: в кадре наша планета, на которой изображены пути перемещения по всему миру почек, роговых оболочек глаза, сердец, костного мозга, лёгких и младенцев. Эти «товары», все без исключения, перемещаются от беднейших слоёв населения самых бедных стран мира к самым привилегированным жителям богатейших стран, расположенный в основном в Северной Атлантике. Сатирический памфлет Джонатана Свифта «Скромное предложение» был не так уж далёк от реальности. Можно ли сомневаться, что эта торговля является следствием громадного и насильственного по своей сути неравенства жизненных возможностей разных жителей планеты — неравенства, получившего совершенно справедливое, на мой взгляд, название «структурное насилие»?

Смысл в том, что громадное различие в благосостоянии, имущественном и ином статусе делает свободу насмешкой. Концентрация богатства и власти в руках немногих в США за последние сорок лет (позднее этому примеру последовали многие государства на Глобальном Юге, придерживающиеся неолиберальной политики) создала ситуацию,

предсказанную анархистами. Накапливающееся неравенство доступа к политическому влиянию в силу простого экономического преимущества, огромные, сравнимые с государствами олигополии, контроль над СМИ, финансирование избирательного процесса, лоббирование законодательства (вплоть до вставки в него нужных лазеек), пересмотр границ избирательных участков, возможность нанимать лучших юристов и тому подобное привели к тому, что выборы и законы служат в основном для усиления этой диспропорции и ее укрепления. Трудно понять, каким образом существующие институты могут уменьшить это подпитываемое само собой неравенство, особенно если учесть, что начавшийся в 2008 году очередной капиталистический кризис не привёл ни к чему, что было бы похоже на «новый курс» Рузвельта. Демократические институты сами в большой степени стали товаром, и тот, кто больше заплатит, тот и сможет их купить.

Рынок измеряет влияние в долларах. Демократия в принципе подсчитывает голоса. На практике же при определённом уровне неравенства доллары начинают влиять на голосование и определять его. Умные люди могут спорить о том, при каком уровне неравенства демократия всё ещё не превращается в фарс, но, по-моему, мы уже давно живём в эпоху некой фарсократии. Всякому, кроме рыночных фундаменталистов (вроде тех, кто считает этически оправданным продажу человеком самого себя в рабство, разумеется, на добровольных началах), ясно, что демократия без относительного равенства — это жестокий обман. Конечно же, это вызывает у анархистов некоторое затруднение: если такое равенство — необходимое условие взаимодействия и свободы, как возможно его гарантировать в отсутствие государства? В здравом размышлении над этой загадкой я понял, что и теоретически, и практически уничтожение государства — не выход. К сожалению, мы вынуждены жить с этим Левиафаном, хотя и не по тем причинам, по которым так считал Гоббс, и наша задача — приручить его. Хотя это вряд ли будет нам под силу.

Анархизм способен быть весьма показательной моделью, демонстрирующей, как на самом деле происходят политические изменения, будь то реформы или даже революции, как понять, что относится к «политическим вопросам», и наконец, как вообще следует изучать политику.

Вопреки расхожему мнению, организации обычно не способствуют росту протестных движений. Напротив, это протесты становятся катализатором укрепления организаций, которые в свою очередь обычно пытаются укротить протест и перевести его на институциональные рельсы. В случае протестов, угрожающих самому существованию системы, формальные организации скорее препятствуют, чем способствуют им.

Институты, которые предназначены для того, чтобы избегать массовых волнений и приводить к мирным и упорядоченным изменениям в законодательстве, в целом не справляются с этой задачей — и в этом состоит великий парадокс демократических изменений, совершенно неудивительный с точки зрения анархизма. В немалой степени это связано с косностью государственных институтов и их служением интересам правящей верхушки, в чем они не отличаются от подавляющего большинства прочих формальных организаций, представляющих интересы общества. Господствующие классы держат государственную власть и институты мертвой хваткой.

Поэтому глобальные перемены происходят редко и, как правило, в случае массовых волнений стихийного характера — протестов, захватов собственности, волнений, грабежей, поджогов и открытого неповиновения властям, угрожающих официальным структурам. Такие выступления практически никогда не поощряются и тем более не иницируются даже левыми организациями, ведь те по своей природе склонны к законопослушным требованиям, демонстрациям и забастовкам, которые обычно можно удержать в рамках существующих институтов. Оппозиционные организации, у которых есть официальные названия, должностные лица, уставы, символика и свои собственные управленческие процедуры, естественно, предпочитают организованные конфликты, в которых они мастера [1].

Фрэнсис Фокс Пивен и Ричард Кловард убедительно доказали [2], что и во время Великой депрессии в Соединённых Штатах и протестов безработных и рабочих в 1930-е годы, и в эпоху движения за гражданские права, и протестов против войны во Вьетнаме, и борьбы за социальное обеспечение успешны были лишь крайне агрессивные, самые насильственные, наименее организованные и иерархичные действия. В стремлении предотвратить распространение внесистемного вызова существующему порядку власти были готовы идти на уступки. В таких случаях у протестующих не было лидеров, с которыми можно было бы заключить сделку — никого, кто пообещал бы убрать людей с улиц в обмен на снисходительность власти. Именно из-за того, что массовое неповиновение угрожает установленному порядку, оно и порождает организации, которые стремятся увести это повиновение в русло нормальной политики, чтобы сдержать его. В таких случаях властные элиты обращаются к организациям, которые они обычно презирают — примером тому договорённость 1968 года между французским премьер-министром Жоржем Помпиду и Французской коммунистической партией (признанным «политическим игроком») об огромных уступках по заработной плате, на которую власти пошли, чтобы отрезать верных партийцев от бунтующих студентов и неуправляемых забастовщиков.

Беспорядки порой принимают причудливые формы, и кажется, что правильным было бы различать их по степени их выраженности и уровню притязаний на моральное превосходство. Так, волнения, направленные на реализацию или расширение демократических свобод — освобождение ли рабов, избирательное ли право для женщин или прекращение расовой сегрегации — ясно заявляют о своём превосходстве. А что можно сказать о массовых беспорядках, цель которых — добиться 8-часового рабочего дня, или вывода войск из Вьетнама, или ещё более абстрактный протест против неолиберальной глобализации? Здесь цели также достаточно ясны, но моральное превосходство протестующих представляется куда более спорным. И пусть некоторым может прийти не по вкусу стратегия «чёрного блока» во время «побоища в Сиэтле» (митинг у Всемирной торговой организации в 1999 году), когда били витрины и завязывали потасовки с полицией, но нет никаких сомнений в том, что без внимания прессы, которое отчасти намеренно привлекли эти бесчинства, широкое движение против глобализации, ВТО, Международного валютного фонда и Всемирного Банка осталось бы практически незамеченным.

Самый трудный случай, который всё чаще встречается среди маргинализированных сообществ — это всеобщий бунт, часто сопровождающийся мародёрством и представляющий собой скорее нечленораздельный вопль гнева и отчуждения, который не

выдвигает никаких связанных требований или заявлений. Именно из-за своей бессвязности и зарождения в наименее организованных слоях общества такой бунт выглядит наиболее опасным: протестующие не выдвигают никаких требований, которые можно было бы удовлетворить, и среди них нет очевидных лидеров, с которыми можно было бы вести переговоры. Правящим элитам приходится лихорадочно искать путь решения. В конце лета 2011 года во время городских беспорядков в Великобритании первой реакцией консерваторов были репрессии и упрощённое судопроизводство. В то же время лейбористы настойчиво предлагали ответить на беспорядки социальными реформами, улучшением экономического положения и избирательным наказанием. Однако невозможно отрицать, что эти беспорядки вне зависимости от конечного результата привлекли, наконец, внимание элит — без него большинство проблем, которыми они были вызваны, не стали бы достоянием общественности.

Здесь мы опять сталкиваемся с дилеммой. Массовые беспорядки и неповиновение при определённых условиях вместо реформ и революции могут привести прямо к авторитаризму или фашизму. Такая опасность всегда присутствует, но это не отменяет того, что внесистемный протест, по всей видимости, является необходимым, хотя и недостаточным условием значительных прогрессивных структурных изменений, таких, как «новый курс» или завоевание гражданских прав чернокожим населением.

При всём том, что большая часть реально заслуживающих внимания политических событий имела и имеет форму необузданного неповиновения, для поработённых классов на протяжении почти всей истории политика принимала очень своеобразную внесистемную форму. Напрасно мы будем искать у крестьян и в большинстве случаев у рабочего класса в ранний период его истории какие-либо формальные организации и публичные проявления несогласия. В этом случае мы имеем дело с тем, что я называю «инфраполитикой», потому что она осуществляется за пределами видимого спектра того, что обычно считается политической деятельностью. Государство исторически препятствовало самоорганизации низших классов, не говоря уже о публичном неповиновении. Для подчинённых групп такая политика опасна. Они, как и партизаны, в большей или меньшей степени смогли понять, что расправы помогают избежать рассредоточенность и малое число участников.

Говоря об инфраполитике, я имею в виду такие действия, как «итальянская забастовка», нарочито медленное выполнение работы, браконьерство, мелкое воровство, симуляция, саботаж, дезертирство, прогулы, захват пустующих зданий и бегство. Зачем рисковать жизнью в случае провала мятежа, если достаточно дезертировать? Зачем рисковать, открыто захватывая землю, когда можно сделать это тайком и фактически получить права на нее? Зачем открыто бороться за право доступа к лесным, рыбным и охотничьим ресурсам, когда можно просто тихо заняться браконьерством и добиться тех же результатов? Во многих случаях такие формы фактической самопомощи процветают, подпитываясь устоявшимся коллективным мнением относительно призыва в армию, несправедливости войн и прав собственности на землю и природные ресурсы, о котором лучше помалкивать. И вместе с тем накопление тысяч или даже миллионов таких малозначительных актов может оказать громадное влияние на результаты войны, права на землю, сбор налогов и имущественные отношения. Сквозь сеть с крупными ячейками, которую политологи и большинство историков используют для поимки симптомов политической деятельности,

свободно прошло и проходит большинство подчинённых классов, исторически не имевших возможности открыто создавать политические организации и участвовать в их деятельности, что не мешало им потихоньку и всем вместе изменять политику снизу. Как давно заметил Милован Джилас, «медленная и непродуктивная работа миллионов незаинтересованных рабочих, вкупе с запретом на всякую работу, которая не считается “социалистической” — это неучтённая, невидимая и колоссальная потеря, которой не избежал ни один коммунистический режим» [3]. Кто сможет сказать наверняка, какую роль подобные проявления незаинтересованности (хорошо проиллюстрированные известным высказыванием «Мы делаем вид, что работаем, а они делают вид, что платят») сыграли в столь долгой устойчивости экономик советского блока?

Неформальное сотрудничество, согласованность и взаимопомощь без иерархии — вот повседневная реальность большинства людей, которая вступает в скрытое или явное противоречие с законами и институтами государства лишь изредка. Большинство сельских и городских общин функционируют именно благодаря неформальным и изменчивым взаимосвязям, не требующим формальной организации, не говоря уж об иерархии. Иными словами, опыт анархической взаимности можно получить повсеместно. По словам Колина Уорда, «анархия — это не отвлечённое видение общества будущего; это описание повседневного человеческого опыта, который осуществляется одновременно и вопреки господствующим авторитарным течениям нашего общества» [4].

Серьезный вопрос, на который у меня нет конкретного ответа, состоит в следующем: не истощило ли многовековое существование государств, их власть и влияние способности людей и общин к независимости и самоорганизации? Многие из функций, которые люди раньше выполняли сообща, координируя свои действия неформально, теперь организуются и контролируются государством. Как, предвосхищая Фуко, однажды сказал Прудон, «...управляться — значит быть всё время под присмотром, контролем, наблюдением, внушением, пропагандой и цензурой, выслушивая приказы существ, не обладающих ни знанием, ни добродетелью. Управляться — значит на каждом шагу, при всяком поступке и в любой деятельности подвергаться учёту, подсчёту, оценке, порицанию, запретам, внесению в списки, определению стоимости, переделкам и правкам» [5].

Насколько же гегемония государства и формальных иерархий нарушила устоявшуюся практику сотрудничества и взаимодействия, исторически обеспечивавшую порядок в отсутствие государства? В какой степени всевозрастающему влиянию государства и предпосылкам деятельности в рамках либеральной экономики на самом деле удалось породить тех асоциальных эгоистов, которых, по мнению Гоббса, государство было призвано укротить? Можно сказать, что формальное устройство либерального государства в основе своей зависит от навыков взаимодействия и сотрудничества — социального капитала, который ему предшествует, который оно создать не может и который оно на самом деле подрывает. Возможно, государство подавляет естественную инициативу и ответственность, рождаемые добровольным сотрудничеством. Более того, упор неолибералов на индивидуальную успешность в ущерб обществу, на частную собственность вместо общественной собственности, на отношение к земле (природе) и труду (рабочему времени людей) как к товарам на рынке, а также их стремление всё выразить в деньгах, например, в анализе прибыли и затрат (скрытые издержки как способ оценить в денежном

эквиваленте вид на закат или иной прекрасный вид, который новое строительство скроет от глаз жителей) способствует воспитанию в людях расчётливости, напоминающей социал-дарвинизм.

Я предполагаю, что два столетия сильной государственной власти и господства либеральной экономики воспитали нас таким образом, что мы практически полностью забыли навыки взаимовыручки и теперь можем превратиться в тех самых опасных хищников, которые, по мнению Гоббса, населяли человеческое общество до того, как возникли государства. Выходит, Левиафан породил то, против чего он должен был бороться.

Склонность анархистов-теоретиков верить в народ, в возможность его самостоятельности, самоорганизации и сотрудничества означала прежде всего признание политическими мыслителями самих крестьян, ремесленников и рабочих. У них были свои собственные цели, ценности и дела, и если какая-то политическая система пренебрегала ими, то тем хуже было для неё. Такого базового уважения к самостоятельной деятельности тех, кто не относился к элитам, не хватало не только государствам, но также и прикладным общественным наукам. Приписывать элитам определённые ценности, понимание истории, эстетические вкусы, даже зачатки собственной политической философии — обычное дело. В противоположность этому, политический анализ тех, кто не входит в число элит, часто проводится как бы за их спиной. Предполагается, что их «политические взгляды» зависят от статистических «критериев», как то: дохода, занятости, времени, потраченного на образование, имущественного статуса, места жительства, расовой и национальной принадлежности, а также религии.

Большинство учёных, работающих в сфере социальных наук, никогда не стали бы считать такую методику даже отдалённо подходящей для изучения элит. Удивительно, насколько такая методика похожа как на подход государства, так и на левый авторитаризм, где к обществу, не входящему в элиту, и «народным массам» относятся как к слепокм социоэкономических характеристик, чьи потребности и мировоззрение понимаются как результат векторов входящих калорий, денег, рабочих будней, обычно потребляемых продуктов и электоральных предпочтений минувшего. Дело не в том, что эти факторы нерелевантны — высокомерие, претендующее на понимание действий людей, которым не дали высказаться, которых не выслушали и не поняли, как они сами объясняют свои действия, недопустимо ни с моральной, ни с научной точки зрения. Опять-таки, это не значит, что в таких объяснениях легко разобраться или что в них нет важных упущений и тайных мотивов — разобраться в них ничуть не легче, чем в объяснениях, которые своим действиям дают представители элит.

Задача социальных наук, по моему мнению, состоит в том, чтобы найти наиболее приемлемое объяснение поведению людей на основе всех имеющихся доказательств, включая сюда и объяснение действий тех, чьё поведение изучается, причем с их собственных слов. Представление, будто бы восприятие ситуации самим субъектом не имеет отношения к этой ситуации, абсурдно: достоверно знать о ситуации, в которой находится данный субъект, невозможно. Лучше всех о феноменологии человеческих поступков сказал Джон Данн: «Если мы желаем понять других людей и пытаемся утверждать, что мы на самом деле понимаем их, не слушать того, что они говорят,

безрассудно и жестоко... Чего мы не можем утверждать, так это того, будто мы понимаем его [субъекта] или его действия лучше, чем он сам, если мы не в силах внять его собственному пониманию себя и своих поступков» [6]. Вести себя иначе означает совершить научное преступление, прячась за спинами исторических деятелей.

Я использую в главах термин «фрагменты» в значении «подразделы» для того, чтобы предупредить читателя, чего ему не стоит ожидать. Слово «фрагменты» употреблено мной, чтобы подчеркнуть фрагментарность этих очерков. Эти фрагменты — не черепки некогда целого сосуда, который упал на землю и разбился, и не кусочки паззла, из которых можно собрать ту же самую вазу или картину. К сожалению, у меня нет тщательно отшлифованных аргументов в пользу анархизма, которые образовывали бы лишенную внутренних противоречий политическую философию, основанную на базовых ее принципах, и которую можно было бы уподобить работам князя Кропоткина или Исая Берлина, не говоря уж о Джоне Локке или Карле Марксе. Если для того, чтобы называть себя анархистским мыслителем, нужно обладать таким уровнем идеологической подготовки, то я однозначно недостойн этого. Всё, что я могу предложить, — это набор размышлений, которые, на мой взгляд, означают моё согласие с большей частью того, что мыслители-анархисты говорят в отношении государства, революции и равенства.

Не является эта книга и попыткой исследования анархистских движений или работ анархистских мыслителей, хотя это было бы весьма познавательным делом. Увы, читатель не найдёт в ней подробного анализа мыслей Прудона, Бакунина, Малатесты, Сисмонди, Толстого, Роккера, де Токвиля или Ландауэра, хотя я и сверялся с произведениями большинства теоретиков анархии. Нет в этой книге и рассказов об анархических или квазианархических движениях, таких, например, как «Солидарность» в Польше, или анархистах во время гражданской войны в Испании, или рабочих-анархистах в Аргентине, Италии и Франции, хотя я и старался прочесть как можно больше о «реально существующем анархизме», как и об основных теоретиках этого движения.

У слова «фрагменты» есть и второе значение — по крайней мере, для меня это в некотором роде эксперимент над стилем и презентацией. То, как создавались две мои предыдущие книги («Благими намерениями государства» и «Искусство быть неподвластным»), было похоже на создание сложных и тяжёлых осадных машин из пародии Монти Пайтона на средневековые сражения. Я писал подробные планы и диаграммы на пятиметровых рулонах бумаги и делал тысячи мелких сносок на источники. Когда я ненароком обмолвился Алану Мак-Фарлану, что мне не нравится столь нудный метод письма, он рассказал мне о методах писателя Лафкадио Хирна, состоявших в более интуитивной, свободной форме сочинения, которое начинается, как разговор, с самого захватывающего и поражающего воображение аргумента, а затем более или менее органично объясняет его. Я попытался последовать его примеру, используя формулы и выкладки куда меньше, чем обычно, надеясь, что книгу будет легче читать — а к этому однозначно и следует стремиться в произведениях с анархистским уклоном.